

Федин К. Горький среди нас. (Картины литературной жизни). Ч. II. М.: Гослитиздат, 1944. С. 6–25.

Сутулый, схожий чем-то с Коньком-горбунком, чуть-чуть вприсядочку бежит по Невскому человек, колюче выглядывающий из-за очков, в пальтеце и в шапочке, Куковников, именно Куковников человек с этой фамилией-причудинкой, надетой на себя Алексеем Михайловичем Ремизовым много лет позже, в Париже, в числе прочих псевдоимен, и обличий, какими он

6

назывался и в какие рядился. Он прячет большой, многоумный затылок в поднятый воротник, а подбородок и губы выпячивает, и крючковатый немалый нос его чувствительно движет кончиком, вероятно, приносясь к тому, что излетает из выпяченных уст. Уста же глаголят нечто скорбное, или рекут гневное, или лепечут нежное, или струят язвительное, или изливают сердечное, и все это в изысканном, но в таком русском слове, какое обмывалось на красных блюдах, протиралось расшитыми полотенцами, хоронилось на божницах, либо доходило к нам в кованных родительских рундуках.

О, конечно, все это было стилизацией! Вся жизнь была стилизацией, и вся письменность тоже – почти шуткою, забавой, но сколь роковой забавой и какую душераздирающей шуткой! Если на свете бывала арлекинада не на подмостках, а в обыденной человеческой жизни, то на русской земле страшнейшие и несчастнейшие арлекины, которым вкусить земное блаженство мешала раз навсегда надетая маска, бывали не однажды в литературе, и среди них, может быть, заглавным был Ремизов.

В первые годы революции, когда стреляли на улицах и прибывали с фронтов солдаты на съезды, шли конференции, конгрессы, и новой религией сделались заседания, Ремизов приду-

7

мал шуточное общество, названное им «Обезьяньей великой и вольной палатой», в сокращении «Обезвелволпал». В палату выбирались только литераторы, и выборы производил сам Ремизов, носивший звание «старшего канцеляриста», в то время как сочлены палаты величались кавалерами, князьями, епископами и многими другими титулами, придуманными для каждого отдельного случая, иногда лестными, иногда насмешливо-позорящими, вроде, например, «великого гнида». Знаменитый пушкинист Павел Елисеевич Щеголев звался «старейшим князем», беллетрист Вячеслав Шишков – «князем Бежецким и Сибирским». Был в палате «епископ

обезьянский Евгений Замятин». Но больше всего числилось «кавалеров», и многие из них знали друг друга только по именам, потому что палата не устраивала собраний и вообще никакой общественной жизни не вела, а существовала как бы в абстракции, в фантазии ее канцеляриуса. Он возводил в звания и раздавал титулы, вел счет кавалерам, писал и разрисовывал «обезьяньи лавровые грамоты», которыми наделялись новопосвященные. Это были забавные ремизовские документы, сплошь увитые его замысловатыми росчерками, вязь из букв и слова, с печатями, заключавшими в себе

8

чертовские знаки, изображения уродов и непонятные надписи глаголицей, которую Ремизов изучил совершенно.

Он был выдающимся каллиграфом и в отношении своем к письму испытывал явно нечто сблизившее его с Достоевским, – то упоение красотой начертаний, какое передал Достоевский словами князя Мышкина, то мечтательное любованье буквой, литерой, которое мы теперь знаем по рукописи «Идиота», где перо Достоевского договаривает недосказанное текстом и где оно достигает над нами власти, равной пушкинским страницам с профилями женщин, всадниками и автопортретами. Ремизов витиевато договаривал пером витиеватые свои вымыслы и расшаркивался, приседал, строил рожи, наставлял рога загогулинами прописных и строчных букв вдобавок к тирадам и к подражаниям всяческому архаизму. Истоками его каллиграфии были славянские рукописи и книги, букет их он вдыхал с любовью, чувствуя за архитектурой славяницы привлекавший его цельностью уклада мир русской старины. Одежда, украшения тут только дополняли душевный строй, к которому тянулся Ремизов.

Если бы его чудачества были простым средством войти в литературный быт, они могли бы заинтересовать только собирателя курьезов. Но

9

поверхность, выставленная им напоказ, была связана с глубиной явления гораздо крепче, нежели ложки в петлицах футуристов – с левым фронтом литературы. Ремизов мог быть и в действительности был своеобразнейшим «правым фронтом» литературы.

Его культом была старина. Жития, притчи и сказки были нерушимым углом его веры, как русская палеография – его любовью. В сказке он черпал свою эстетику, в притчах и житиях – свое исповедание.

Сказка, вся из преувеличений мечты, из прямоты мудрости, из насмешки наблюдения покорила Ремизова, пожалуй, больше всего последним качеством, остро выражающим ее народность. Он развил ее злую, издевательскую, насмешливую, шуточную сторону. Играючи владея сказом, он перекладывал

народные сюжеты своим изощренным языком, брал ходячие анекдоты, вплоть до солдатских, давние поверья и делал из них шедевры фольклорных стилизаций.

Шутка шла из культа сказки. Ремизовский чорт бывал и глупым, и умным, как в сказке. Ремизов забавлялся им, придавая ему все оттенки, мыслимые между умом и дурью, шалил с ним и в конце концов верил в него, как верит в чорта сказка, со всей серьезностью и даже трусовато: аминь, аминь, рассыпья!

10

Смысл чудачеств состоял в том, что черти, домовые, водяные, лешие заслоняли Ремизова своими обросшими паленой шерстью телами, а он стоял за ними сосредоточенный, с колючим взглядом остроумца, противопоставляя *необъяснимое* решительным попыткам времени все объяснить.

Я учусь у народа, мог бы рассуждать Ремизов, а народ – с чертями, так куда же денешься от чорта и без чорта? Народ мудр, однако народная мудрость не могла всего объяснить, отдав целые поля во власть неизведанному. Это неизведанное влечет к себе воображение, как белые пятна географической карты тянут к себе путешественника. Но насколько скучнее была бы карта без белых пятен, и, смотрите, как поник мир, когда изменили чорта. Так пусть же чорт существует в шутку, если его нет всерьез. Движение, желающее все объяснить, странно и мучительно, в нем есть болезненная натянутость. Вместо того, чтобы так нетерпеливо торопиться в неизвестное будущее, не лучше ли задержаться в прошлом, сделать шаг назад? Это желание обернуться назад может быть выражено связью с чем-нибудь первобытным, ну, хотя бы с обезьяной.

Чудесные времена! Не было никакой регламентации, была только воля: живи на любом

11

дереве, висни на любой ветке. Мы произошли от обезьяны, и – о, ужас! – сколько мы утратили, пока сделались тем, что мы есть! Вспомняем же наших счастливых праотцев, собравшись в Обезьянью великую и вольную палату...

Так мог бы рассуждать основатель Обезвелволпала, да и как бы еще рассуждал он, иронический, насмешливый человек, реставрируя для своих цивилизованных обезьян титулы кавалеров, князей и сан епископов, то есть все то, что отошло в прошлое? Если бы матрос, пришедший к Ремизову с обыском, застал его не за вырезанием чертенят, а за изготовлением княжеских грамот, он, пожалуй, телефонировал бы не Горькому, а тому, кем был послан на работу: чертенята обозначали явную отсталость от века, а что могли обозначать отмененные революцией князья и архиереи?

Ремизов шутил, это, конечно, понимали все, кто мог понимать. В годы гражданской войны он напечатал, в библиофильских тиражах, несколько крошечных, в ладонь, книжечек, среди них – «Царя Додона» с такими рисунками искушенного Бакста, что военная цензура придержала выпуск книги из типографии, чтобы сначала осведомиться, как в подобных озорных случаях поступают с печатными произведениями: с военной точки зрения как будто ничего смущающе-

12

го (военные могут еще и не такое!), ну, а как с невоенной? Цензуру сначала одобрили, но Ремизов доказал влиятельным лицам, которые стеснялись прослыть невеждами, что какое бы изображение Бакст ни сделал, он, Бакст, есть искусство, и потому «Царя Додона» надо сохранить для вечности и выпустить в свет. И случилось так, что суровые времена именно в этом отношении не обидели вечность.

Озорство Ремизова и Бакста открыло собою хоровод изданий, подобных «Царю Додону». Федор Сологуб напечатал «Царицу поцелуев» – новеллу без простодушия Мазуччо, но с его деревенской откровенностью. Михаил Кузмин отыскал в поэзии Анри де Ренье самые прельстительные вирши для рисунков Митрохина. Все это было только запевкой, подхваченной хором безумных сластен, которые лакомились сами и вызывали слюнотечение у других.

Ремизов шутил, озорничал больше и дольше всех. Но у него кривились губы, вздрагивала челюсть, веки его были докрасна изъедены скупой, но не просыхавшей слезой. Бывают такие русские дома, в тихих городках или в деревне, с узорчатыми, игровыми наличниками на окошках, резанными плотником под веселую песню. Но в окошках этих, за черными, отливающими перламутром стеклами, ледком стынет

13

что-то обреченно-тоскливое и во всем доме сразу чувствуешь притаившуюся немилосердную судьбу. Таким русским домом, отданным навсегда неодолимому року, был Ремизов.

*

В сороковую годовщину смерти Достоевского Ремизов произнес «Слово» о нем в Доме литераторов. Я смотрел в лицо Ремизова, когда он, привскакивая, как будто силясь выпрыгнуть из-за кафедры, на которую опирались его раскинутые руки, взывал к аудитории смятенным голосом. Было что-то жгучее и неистовое в ремизовском прославлении России Достоевского, в покаянии и в гневе, какие клочотали в этом «Слове». Лицо Ремизова вдруг передергивалось, на миг искажаясь от боли и страсти, хотя видно было, что он себя изо всех сил удерживает в ораторской черте, почти

боясь вырваться из нее в исступление, в пророческий, в шаманский крик. Он произносил каждую фразу с напряженной ясностью, но мне все казалось, что он вот-вот забормочет, как в припадке, и в его смертной бледности, наполненной трепетом, в его губах, забелевших по уголкам, было что-то эпилептическое.

С самой большой яркостью услышал я в

14

его речи причитание о России, о той ушедшей России, перед которой ахнул мир, когда Достоевский вывел ее в наготе каторги, подвалов, меблированных комнат и чердаков, не постыдившись бездонности ее падений и восславив детскую чистоту ее любви.

Это причитание перекликалось с плачами символистов о России, но Ремизов выражал свои убеждения видениями, образами, как истинный эпик, веря в силу картины больше, чем в силу логики, тогда как изобразительность, а с нею и философия Андрея Белого захлебывалась в ритмических вихрях его словесной музыки, а Блок уже испытывал наслаждение от нараставшего в нем логического таланта публициста.

Ремизов нежно любил Блока, и он восхищался Белым, как учитель может восхищаться учеником, но истоком родства всех троих гораздо меньше была стихия слова, чем необычайно близкое ощущение прежней России, как оплакиваемой утраты.

Тут, в самом корне ремизовской темы, уже ничего не было от стилизации: она была националистичной до болезни, до нетерпимости, до огня и меча, как в «Дневнике» Достоевского, где национальное начало всех начал становилось угрозой всякому инакомыслию. Не только

15

национализм соединил Ремизова с Достоевским. Как психолог, как романист он шел по следам своего божества, отыскивая и строя русские характеры, как ключи к познанию России. Его биография сложилась странным подобием биографии Достоевского, маленьким, конечно, подобием, отражением в капле воды, но все-таки отражением великой планеты. Ремизов был на севере в царской ссылке, его путь встретился с волчьим рыском Савинкова-Ропшина, он прошел сатирическими журналами 1905 года, потом общественное в его тяготении перемежилось с интимным, анархическим, и все эти повороты биографии происходили где-то рядом с обрывами, безднами Достоевского, навсегда связав Ремизова с этим писателем.

Но родство с Достоевским не сделало Ремизова его рабом. Он был слишком капризной птицей. Любовь к «житиям», откуда он взял множество мотивов для своих сказаний, должна была сделать его последователем другого

писателя – Лескова, богатства которого происходили из тех же родников – притч, сказок, лубка, четьи-минеев. Так возникла ремизовская форма – хроники русской жизни, семейные истории, родовые, родословные русских людей.

Летом восемнадцатого года Ремизов гостил в дорогобужской усадьбе Соколовых. Семья эта

16

хранила увлекательные истории о крестьянах, духовенстве, богачах Смоленской губернии, и особенно поэтично рассказывала о поместных героях Мария Степановна Соколова – мать писателя и путешественника Ивана Сергеевича Соколова-Микитова, обязанного ей всею прелестью своего лирического дарования. Ремизов не мог не заразиться ее рассказами и тут же в усадьбе, за маленьким столом с узорчатой мраморной доской, записывал, перекладывал, приукрашал только что узнанные дворянские романы, веселые похождения сельского дьякона, странствия в Оптину пустынь, воспоминания о прославленных смоленских людях. В соседнем Ельнинском уезде, неподалеку, находилось имение Михаила Погодина – друга Гоголя. Дядя Соколова-Микитова в молодости служил у Погодина, и в семье жила память о сердитом старике, в доме которого береглась, под стеклянным колпаком, дорогая реликвия: цветная жилетка Николая Васильевича Гоголя-Яновского.

Одни эти имена – Гоголь, Погодин – и в обстановке глухой усадьбы, под тенью неизменных лип и в солнечной тиши яблоневого сада, разговоры за вечерним чаем о житейской доле словно еще витавших поблизости людей старины породили в Ремизове тот музыкальный подъем, какой называется вдохновением, и он

17

создал свои лучшие по чувству родной земли хроники, нечто вроде земского, усадебного письмовника – погодинского письмовника о смоленских судьбах.

Нежность Ремизова к русской земле, раскрытая в письмовнике, сочетала в себе страсть и женственность и была его настоящей писательской сущностью. Никакая гримаса, никакое юродство или скоморошество не могли скрыть этой главной, серьезной стороны его искусства. Казалось, он ушел в русскую землю так, что его не выкорчует никакая сила.

И вдруг он сделал такой шаг, что мы, молодые писатели, принимавшие людей такими, какими они хотели казаться, разинули от удивления рты и онемели.

*

После одного вечера в Доме искусств я шел домой вместе с Ремизовым. Засунув пальцы глубоко в рукава, сутулясь, ежась и вздрагивая (мне казалось,

что Ремизов вечно дрожал от внутреннего холода), он говорил потихоньку, с лицом юродиво-верующего, будто посвящая меня в потайные свои убеждения:

– Ну, вот и появляются молодые, из медвежьих углов, кто с посада, кто с городища

Я всегда говорил: погодите, придут, откуда никто и не ждет, явятся преемствовать, и с полным правом: не инкубаторные и не гомункулы, а с отцом и матерью – равно и от русской революции, и от русской литературы. Я счастлив, что был прав, что вижу теперь, как вы все рождаетесь, что стою при самом начале, при родах, и что буду кого-нибудь повивать, как бабка. Счастлив, счастлив.

Он касался меня беглым взглядом, мгновенно улавливая, что я верю его словам, и продолжая еще сокровеннее:

– Счастлив, очень счастлив, что всю революцию просидел я в Петербурге. Ну, что там они поразъехались, наши писатели, по заграницам? Что они там видят? С кем живут? Жалко мне их. Пропавшие они, эти эмигранты, пропавшие...

В то время в литературе из года в год раздавались жалобы, и было привычно слышать поскрипывание зубов, видеть печаль, усталость. Не удивительно, что я обрадовался, когда голос веры излетел из такой хилой оболочки. Особенно убеждало, пожалуй, как раз то, что оптимизм принадлежал человеку болезненному, жалкому своей физической незащищенностью. Он мне показался сразу сильнее, больше, внушительнее. Значит, не все плачутся и скрипят зубами, думал я, есть писатели, глубоко соединенные со

своей землей, не бегущие ее судеб. И как хорошо, что эта национальная гордость проявляется в настолько сложном художнике, как Ремизов. Я был очень рад такому открытию.

В начале лета 1921 года Ремизов, встретившись со мной, сказал, что я возведен в «кавалеры обезьяньего знака» и что он уже изготовил соответствующую грамоту, которая скоро мне будет вручена. Он поздравлял меня важно и серьезно – настоящий канцеляриус, и это увеличивало шуточность положения. Потешный акт был следствием того, что Ремизов прочитал мой рассказ «Сад», поэтому я испытывал нечто вроде признания, сделаться «кавалером», хотя бы и «обезьяньим», мне было внове.

Но тут неожиданно разнесся слух, что Ремизов бежал за границу.

В первые дни никто из молодежи не поверил этому. Ждали, что все разъяснится, что он так же вдруг объявится, как исчез, что он уехал куда-

нибудь в глушь, в уединение, отдыхать. Зоценко говорил мне, что бегство такого человека в чужие страны было бы противоестественно, как переселение рыбы на жительство в горы. Ремизов и его уверял, будто бы счастлив, что просидел всю революцию в Петербурге и что эмигранты – пропащие люди. Но прошло

20

еще некоторое время, и сам Ремизов позаботился рассеять сомнения: от него пришли письма из Ревеля, в которых он печалился об всем покинутом, а из множества околичностей выходило, будто он никогда не бежал бы, если бы его не заставили, либо чуть ли не похитили.

С этого момента Ремизов не переставал писать наполненные жалобами, тоскою, иногда даже отчаянные письма с перепевами своих плачей и причитаний о России. Он продолжал за границей пестовать Обезьянью великую и вольную палату, и рассказывали, что вывез с собою и носил на груди в ладанке горсть родной русской земли. Он вывез с собою даже русского чорта, и много позже, в Париже, передавалось, будто бы держит этого чорта у себя в кухне, у плиты, в каменном угле или в брикетах, вероятно, потому что русскому чорту во всяком ином французском месте слишком противно. Однако, будучи много лет спустя в Париже, я увидел, что даже русский чорт отступился от Ремизова бесповоротно, и расскажу об этом позже.

Тогда же, в год эмиграции Ремизова из Петербурга, вся его писательская сложность в моих глазах необычайно упростилась, сделавшись преимущественно голым, формальным явлением стиля.

21

*

У Горького бывали в литературе особые нелюбви, пристрастия недружелюбия и даже ненависти. Так как литература не делилась им на активную и мертвую, но вся существовала в одном непрерывном ряду писателей, стоявших поближе или подальше от Горького, то, например, с Капнистом или Хемницером у него могли быть столь же оживленные отношения, как с Пришвиным или Пастернаком. В свой объективизм оценок он умел вносить страшно много личного, и были литературные репутации, с которыми он сводил счеты всю жизнь.

Именно так он не любил Достоевского. Это была не только неприязнь политическая и объективная, неприязнь к автору «Дневника» и «Бесов». Нет, Горький не мог простить Достоевскому его каких-то интимных интонаций, создающих музыку морали, окраску всей системы чувствования писателя. В конце концов Горький прожил огромную и сложно построенную жизнь, не изменив изречению, прославившему его молодость: «Человек – это

великолепно!.. Это звучит... гордо!» А сколько раз литература вспоминала Достоевского в связи с иным изречением: «Человек – подлец: ко всему привыкает»? Меня поразило, когда я узнал, что Горький предложил считать своего

Луку просто жуликом, как всех «примирителей». Но потом я увидел в этом образец его жестокой последовательности. Достоевский в силу иной последовательности, конечно, не был бы к Луке так безжалостен.

Воспринявший от Достоевского его мораль, а в общественной мысли его национализм, Ремизов должен был сделаться естественным антиподом Горького. Где-то в далеких началах они встретились за четьи-минееми, почти в начетнической любви к письменности, к литературе. Но выводы из одной и той же книги они сделали разные, и цели их разминулись.

Ремизов видел в русских людях необыкновенно много заманчивого, влекущего, выступал их плакальщиком и ушел от русской земли, унеся с собою горстку ее в ладанке. Горький же, не боясь говорить о «российском человеке» даже едкую правду, всегда оставался с русской землей не символично, а в беспримерно-страстной, действенной связи. И опять последовательно и со всем холодом он отвергал и содержание ремизовской мысли, и всю его хитроумную изощренную технологию.

В письме ко мне из Берлина, посвященном работе серапионов и вопросу «как писать», Горький сравнивает двух мастеров – Андрея Белого и Алексея Ремизова:

«Белый – человек тонкой культуры, широко образованный, у него есть своя оригинальная тема, ее пожалуй, другим языком и невозможно развивать, она требует именно того языка, тех хитросплетений, которые доступны и уместны только для Белого. Ремизов – человек, совершенно отравленный русскими словами, он каждое слово воспринимает как образ и потому его словопись безобразна, - не живопись, а именно словопись. Он пишет не рассказы, а – псалмы, акафисты».

Возвращаясь к Белому, Горький говорит о нем, что он «чувствует нечто, даже и всей роскошью его слов, всей змеиной гибкостью языка его – выразить трудно».

И замечательно; тут же Горький спохватывается, верный своей обычной позиции не создавать школ, побуждать молодого писателя не к подражанию, а к самостоятельности:

«Но – не поймите, что я рекомендую Вам Белого или Ремизова в учителя – отнюдь! Да, у них изумительно богатый лексикон и, конечно, это достойно внима-

24

ния, как достоин его и третий обладатель сокровищами чистого русского языка – Н. С. Лесков. Но – ищите себя. Это тоже интересно, важно и, может быть, очень значительно».

Разве это не флюберовский дар – восхищаться тем, чего не любишь? Неукротимый интерес к явлению, личная заинтересованность в его бытии, и в результате – с точностью взвешенный, как бы бесстрастный приговор: да, я имею дело с одним из обладателей сокровищами русского языка – Алексеем Ремизовым; его мастерство я буду изучать, но следовать ему не стану, потому что оно неприемлемо для моего понимания искусства. Опять и опять звучит знакомое назидание: слушайте, но не слушайтесь.

Таков был плодотворнейший принцип Горького-учителя в рабочем его общении с молодой литературой.

25
